

ТЕПЛА — СЛАДКА

Борис Савинков



ЭФ

*Конь бледный
Конь вороной*

Борис Викторович Ропшин

Конь вороной

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=133147

Конь бледный. Конь вороной: Терра – Книжный клуб; 2004

ISBN 5-275-01010-9

Аннотация

Борис Савинков (1879-1925) – литературный псевдоним В.Ропшин – больше известен в нашей стране как политический деятель, чем как талантливый публицист и писатель. Его перу принадлежат высокохудожественные произведения – повести «Конь бледный» и «Конь вороной», представленные в сборнике.

Произведение «Конь вороной», в котором автор показал бесперспективность белого движения, увидело свет в Париже в 1923 году.

Содержание

Часть первая	5
1 ноября.	5
2 ноября.	8
3 ноября.	9
4 ноября.	11
5 ноября.	12
6 ноября.	13
7 ноября.	14
8 ноября.	15
9 ноября.	17
10 ноября.	19
11 ноября.	20
12 ноября.	21
13 ноября.	23
14 ноября.	24
15 ноября.	25
17 ноября.	27
18 ноября.	28
19 ноября.	29
20 ноября.	31
21 ноября.	32
22 ноября.	33
24 ноября.	34

25 ноября.	35
26 ноября.	36
27 ноября.	37
28 ноября.	38
29 ноября.	39
30 ноября.	40
1 декабря.	42
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Борис Савинков (В.Ропшин) Конь вороной

Часть первая I

*«...и вот, конь вороной, и на нем всадник,
имеющий меру в руке своей».*

Откр. VI, 5.

*«...кто ненавидит брата своего, тот находится
во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет,
потому что тьма ослепила ему глаза».*

I. Иоан. II.11

1 ноября.

Очень хотелось спать, но я сделал над собою усилие и приказал привести Назаренку. Он вошел высокий, в желтой кубанке, и стал на пороге во фронт.

– Садись.

– Постою, господин полковник.

– Садись, вот здесь, напротив меня.

Он для приличия потоптался у двери. Потом сел на краюшек стула.

– Ты рабочий Путиловского завода?

– Так точно.

– Я взял тебя на бронепоезде «Ленин»?

– Так точно.

– Что я сказал тогда? Повтори.

Он задумался и поднял глаза.

– Вы сказали, что каждый может служить; кто не хочет, того расстреляют...

– Нет. Я сказал: кто хочет, служи, а кто изменит, того повешу... Так?

– Так точно.

– А теперь я знаю, что ты коммунист.

Он вздрогнул.

– Сознаться, кто еще в комячейке?

– Не могу знать, господин полковник.

– А что с тобой будет, знаешь?

– Воля ваша.

– Хорошо. Ординарцы!

Он хотел что-то сказать и даже привстал со стула. Но вошли Егоров и Федя.

– Ординарцы! Полторапта плетей!

Когда его увели, я, не раздеваясь, лег на кровать. И сейчас же, в темном тумане потонули и Назаренко, и длинный

переход на морозе, и сосновый, запорошенный инеем бор, и багрово-желтая дубовая роща, и скрип седел, и гнедая кобыла Голубка. Но за стеною свистнуло и упало что-то, и сильно и равномерно стал содрогаться воздух.

– Господин полковник!

«Сорок два... Сорок три... Сорок четыре»... Сон прошел. Стало душно лежать здесь, в жаркой комнате, в чужом доме, у незнакомого и перепуганного попа. В сенях грубый голос сказал: «Ишь, ворочается... На-голову, Федя, садись»... Это «работал» Егоров.

2 ноября.

Егоров – седобородый крестьянин, пскович. Он старовер, не курит, ест из своей посуды и строго соблюдает закон. Лет пятнадцать назад он из ревности убил брата. Но это – «бабье дело», а в бабьем деле закона нет. Когда он поступил добровольцем, я спросил у него:

– За что ты их ненавидишь?

– Кого?

– Коммунистов.

– Бесов-то? А за что их любить? Дом сожгли и сына убили... Даже пес жалеет своих щенят... На кострах жарить их надо.

– Да ведь белые за помещиков.

– Так чего? Мы помещикам головы-то открутим.

– Когда?

– А вот время придет.

Он дослужился до вахмистра и очень горд своим званием. И когда Федя, смеясь, говорит, что он в прихвостнях у дворян, он сердито трясет седой бородою:

– Язва. Отстань. Я не за бар, – за Рассею.

За Россию... До войны он, наверное, говорил: «мы – скобари», и знать не хотел «калуцких». А теперь на коне и с винтовкой изгоняет из России «бесов».

3 ноября.

Городишко, где мы стоим, убог и неряшлив. Он утонул в сыпучем песке. Песок в лесу, песок на дороге, песок на улицах, песок на подушке. Точно мы в Аравийской пустыне. Но в пустыне горячее солнце, а здесь меркнет свинцовый день, вьется липкий осенний снег, и по утрам мороз щиплет пальцы. Мы в летних шинелях. У нас нет валенок. Нет рукавиц. Кто-то, мудрый, ворует в тылу.

На городской площади изгнившие тротуары, конский навоз и пыль. Бабы в белых платках, крестьяне в белых тулупах. Евреев почти не видно. Евреи ушли в леса, со стариками, женами и детьми, с коровами и домашним скарбом. Мы не освободители в их глазах, а погромщики и убийцы. На их месте я бы тоже ушел.

Погромы, грабежи и насилия запрещены строжайшим приказом. За нарушение – смертная казнь. Но я знаю, что вчера во втором эскадроне играли в карты на часы и на кольца; что ротмистр Жгун разгромил еврейскую лавку; что улан завелась валюта – американские доллара; что в лесу нашли истерзанный женский труп. Расстреливать? Двоих я уже расстрелял. Но ведь нельзя расстрелять половину полка.

Я пишу, а в столовой хрипит граммофон. Он хрипит, захлебывается и снова хрипит, точно жалуется на свою машинную немощь. Я слышу, как Федя долго возится, починяя его,

и, наконец, с ожесточением плюет. Потом начинает негромко:

Полюбили сгоряча
Русские рабочие
Троцкого и Ильича,
И все такое прочее...

4 ноября.

Федя – художник. В свободное от «занятий» время он рисует «картинки». Одну из таких «картинок» он принес мне сегодня. Он написал свой портрет. Те же волосы огненно-рыжего цвета, тот же сплюснутый нос, те же смущающие глаза: один мертвый, выбитый пулей, другой прищуренный, веселый и быстрый. Он не в нашей, а в английской шинели, но с кубиками и пятиконечной звездой. Подписано: «Комиссар Федор Федоров, товарищ Мошенкин».

Он залюбовался своим искусством. Он не в силах оторвать восхищенного взгляда. Если бы он знал историю, он бы вообразил себя Неем или Даву (маршалы Наполеона – Ред.) На самом деле, он бывший бакалейный торговец, владимирский мещанин. Налюбовавшись, он говорит:

– Граммо-граммо-граммофон... Пате-пате-патефон... А нельзя ли на выставку, господин полковник, послать?

5 ноября.

Я приказал оседлать Голубку и выехал в поле. Застоявшаяся кобыла весело бежала размашистой рысью, звонко цокая по дождевым лужам. День был ненастный и теплый. Со свистом носился ветер. Разорванные, черно-лиловые облака низко опускались на землю.

Я люблю простор широких полей. Я люблю синеву далекого леса, оттепель и болотный туман. Здесь, в полях, я знаю, знаю всем сердцем, что я русский, потомок пахарей и бродяг, сын черноземной, напоенной потом, земли. Здесь нет и не нужно Европы – скупого разума, скудной крови и измеренных, исхоженных до конца дорог. Здесь – «не белы снега», безрассудство, буйство и бунт.

Я остановился на берегу Березины и пешком пошел вдоль реки. Она струилась спокойная и глубокая. Ее пустынные воды сверкали Инеем ломкого льда. Слезился ржавый кустарник, нога скользила в мокрой траве, и Голубка, мягко ступая, тыкалась мне мордой в плечо. Я слышал ее дыхание, и мне казалось, что и она, и нависшее небо, и Березина, и шуршащий тростник, и я – одно неразделимое целое, единый, замкнутый и непознаваемый мир... И мне вспомнилась Ольга. Она вспомнилась мне такой, какую я видел ее когда-то, в Москве, – в белом платье и соломенной шляпе. Где Ольга? Что с нею?

6 ноября.

Россия – Ольга, Ольга – Россия. Если не будет Ольги, моя влюбленность в Россию потеряет свою глубину. Если не будет России, моя любовь к Ольге утратит всеобъемлющий смысл. Жить в России без Ольги все равно, что влачиться с Ольгой в изгнании, – влачиться на «поломанных крыльях», дрожа и «прижавшись к праху».

7 ноября.

Вчера у меня в саду повесили Назаренку. Он не сознался. Он, как зверь, отлеживался на кухне. Верил ли он, что умрет?

Был восьмой час утра. Выходило холодное солнце. За ночь выпал пушистый снег и замел песок на дорожках. Назаренко вышел с Егоровым на крыльцо. Потом, поеживаясь и жмурясь, стал под березу. На березе, на догола обнаженном суку, верхом сидел Федя. На улице молча толпились уланы.

– Начинай.

Назаренко глубоко вздохнул. Он был без шапки, в короткой, белой, расстегнутой на шее, рубашке. Егоров толкнул его в бок.

– Лоб-то... Лоб-то перекрести, сукин сын.

Я видел, как быстро-быстро задвигались пальцы и зашевелились синие губы. И я скорее почувствовал, чем услышал:

– Господин... Господин полковник!..

Но Егоров угрюмо сказал:

– Даже помереть не умеешь. На что крестишься?.. Крестись на восход.

Федя накинул веревку. Подогнулись худые колени, и голова опустилась вниз. Повисло длинное, бессильное тело. Федя спрыгнул, дернул за ноги и закричал на уланы:

– Чего не видели? Расходись!..

8 ноября.

Поручик Вреде, гусар, провел всю войну на фронте, ходил на проволоку в конном строю, был ранен и заслужил Георгиевский крест. Коммунисты посадили его в тюрьму. Из тюрьмы он бежал. Он командует вторым эскадроном.

Каждый вечер он приходит ко мне, садится на турецкий диван и курит. Он совсем еще мальчик, белокурый, с розовыми щеками и детским пухом вместо усов.

– Юрий Николаевич, почему мы стоим в этой дыре?

– Приказано.

– А скоро пойдём вперед?

– Когда прикажут.

Он хмурит тонкие брови.

– Надоело.

– Идите один.

– Вы всегда надо мной смеетесь.

– Смеюсь? Бог с вами, Вреде... Если бы мне надоело, я бы ушел.

– Куда?

– В лес.

Скудеет день, загорелись первые звезды. За окном морозная ночь. Вреде ходит из угла в угол.

– Нас было три сестры и два брата, и отец, генерал. Мать скончалась давно. Было у нас имение, усадьба под Ригой. От-

ца расстреляли, старший брат убит на Кавказе, а о сестрах я ничего не знаю. Имение разгромили, конечно... Ну, вот... Отца и брата я им простить не могу...

– У Назаренки тоже, наверное, есть брат.

– У Назаренки?.. Так ведь он коммунист.

– А вы белый?

– Да, белый. Я за Россию.

Я улыбаюсь:

– И за усадьбу?

– За усадьбу? Нет... Чорт с нею, с усадьбой. Я не горюю: пусть разживаются мужики.

Федя вносит зажженную лампу. Погасли звезды в окне, запахло махоркой и керосином. Федя прикручивает фитиль и говорит, вытирая жирные пальцы о скатерть:

– И разживутся, и попользуются, господин поручик... Уж такой, стало быть, вороватый народ...

9 ноября.

У Егорова сожгли дом и убили сына. У Вреде убили отца. У Феде убили мать. Я понимаю, за что они ненавидят. Но за что ненавижу я?

У меня нет дома и нет семьи. У меня нет утрат, потому что нет достояния. И я ко многому равнодушен. Мне все равно, кто именно ездит к Яру, – пьяный великий князь или пьяный матрос с серьгой: ведь дело не в Яре. Мне все равно, кто именно «обогащается», то есть ворует, – царский чиновник или «сознательный коммунист»: ведь не единым хлебом жив человек. Мне все равно, чья именно власть владеет страной, – Лубянки или Охранного Отделения: ведь кто сеет плохо, плохо и жнет... Что изменилось? Изменились только слова. Разве для суеты поднимают меч?

Но я ненавижу их. В распояску, с папиросой в зубах, предали они Россию на фронте. В распояску, с папиросой в зубах, они оскверняют ее теперь. Оскверняют быт. Оскверняют язык.

Оскверняют самое имя: русский. Они кичатся тем, что не помнят родства. Для них родина – предрассудок. Во имя своего копеечного благополучия они торгуют чужим наследием, – не их, а наших отцов. И эти твари хозяйничают в Москве...

Если вошь в твоей рубашке
Крикнет тебе, что ты блоха,
Выйди на улицу —
И убей!

10 ноября.

Москва... Москва – начало и конец моей жизни. Без Москвы, без ее кривых переулков, Христа Спасителя, Арбата и Кремлевских ворот, без ее богатства, славы, унижения и нищеты, нет Родины, а значит нет и меня. «Горят кресты на церквах, скрипят по снегу полозья. По утрам мороз, узоры на окнах, и у Страстного монастыря звонят к обедне. Я люблю Москву. Она мне родная».

Верю ли я в победу? В тылу тупоумие, взятки и воровство, – слепорожденные мыши. На фронте тупоумие, доблесть, разбой, – не воины в белых одеждах, а двойники своих же врагов. Я боюсь, что настанет день, и мы, как стадо овец, метнемся обратно. Метнемся, потому что корыстно любим Москву.

11 ноября.

Слава богу, мы выступаем. Из штаба армии получено приказание идти на Грабово и Бобруйск. Я велел отслужить молебен. Гололедица. Сеет дождь. Снег растаял на мостовой и смешался с желтым песком. Бурая грязь налипает на сапоги, липнет в руках кубанка. Священник вяло бормочет: «О мире всего мира и о спасении душ наших господу помолимся...», и Федя в мокрой шинели тянет вместо дьячка: «господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй...» Уланы крестятся. Многие стоят на коленях. Один Егоров остался дома. Он согрешит, если будет молиться с нами: мы «нехристи» и «еретики».

12 ноября.

Входит Вреде. Он взволнован. Голос его дрожит:

– Юрий Николаевич, что же это такое? Я больше так не могу. Что мы, погромщики, в самом деле?.. Вы знаете, что случилось?

– Что?

– Жгун застрелил еврея.

– Из-за чего?

– Из-за денег.

Ротмистр Жгун храбрый и исполнительный офицер. Но он грабитель. Он не говорит «ограбил» или «украл», а говорит «покупил» шубу, «покупил» кольцо, «покупил» сапоги. Это же слово повторяют за ним и уланы. Пока не было крови, я закрывал поневоле глаза. Но сегодня дело другое. Я выхожу на крыльцо.

– По коням!

Федя подает мне Голубку. Я трогаю ее шагом к первому эскадрону. Впереди, на высоком, сером в яблоках, жеребца ротмистр Жгун. Я узнаю высокого жеребца: он взят в бою у красного офицера.

– Ротмистр Жгун!

– Я.

У него добродушное, красное, с рыжими усами лицо. Ему лет 40. Он из вахмистров царской службы.

– Вы убили еврея?

– Так точно.

– За что?

– Да ведь жид, господин полковник...

– Я спрашиваю: за что?

Он побагровел, но не произносит ни слова. Я говорю трубачу:

– Трубач, за что ротмистр Жгун застрелил еврея?

Трубач потупился: боится начальства. Но я настаиваю:

– Я приказываю тебе. Отвечай.

– За часы, господин полковник.

– Вы слышали, ротмистр Жгун?

Он молчит. Он «ест» меня по-солдатски глазами... Тогда я говорю:

– Расстрелять.

Я поворачиваю Голубку. И я не вижу, но знаю, что Егоров и Федя уже стаскивают его с седла и ставят тут же, у поповского дома, к стене. Я жду. Я жду недолго. Трещат два выстрела. Я командую:

– Справа по три. За мной! Шагом... ма-арш!

13 ноября.

Я помню: я познакомился с Ольгой случайно. Я шел по Петровскому парку. Был один из тех хромоногих дней, когда тревожит ненужная память и не смываются «печальные строки». Я встретил девушку. Она спросила дорогу. Мы долго шли рядом. Я молчал. Я молчал потому, что мне было жутко, – жутко моей сердечной тоски. А потом... Потом я наклонился к ней и взял ее руку. Но она посмотрела мне прямо в глаза так доверчиво и так ясно, что я смутился. И в смущении зародилась любовь.

14 ноября.

Просека. Лесная дорога. Кругом густой и частый, дремучий бор. Не скрипнет ель, не дрогнет подгнивший сучок, не хрустнет, падая, ветка. Пофыркивают негромко кони, и гулко и ровно постукивают сотни копыт. Изредка Федя, закуривая, чиркает спичкой. Изредка я вполголоса говорю: «Под ноги налево... Под ноги направо...», и взводные повторяют мою команду. Так мы идем с утра, 1-ый Уланский полк. Идем к Березине.

Расступились темно-зеленые ели, и потянулось проржавленное болото. Кое-где, среди колючей травы, еще алеет брусника. На болоте пасется стадо. Мычат коровы. Пастух в дырявом тулупе тупо нам вслед.

– Откуда?

– Из Бухчи.

– Есть в Бухче красные?

– А может и есть...

– Много?

– А может и много...

Он снял картуз и лениво скребет в затылке. Ему все равно – белые или красные, царь, или мы, или коммунисты. Для него все чужие, все незваные гости. Он родился в лесу, в лесу и умрет. Федя, шутя, замахивается нагайкой:

– Пошел вон, лесовик!..

15 ноября.

В Бухче не было красных. Я приказал созвать сход. У церкви собралось человек пятьдесят мужиков, много баб и еще больше мальчишек. Я старался им объяснить, кто мы и во имя чего воюем. Они слушали внимательно, но угрюмо. Я чувствовал, что они мне не верят: в их глазах я был барин. И когда я заговорил о земле, меня сразу прервало несколько голосов:

– А почему у вас генералы?

– А почему с вами паны?

– А почему не платите за подводы?

Что мог я ответить? Да, в тылу у нас царские генералы. Да, помещики тянутся, как пиявки, за нами. Да, в армии идет воровство... Меня выручил из беды Егоров. Он протискался сквозь толпу огромный, седобородый, похожий на раскольничьего попа, загремел, показывая корявый палец:

– Это что, огурец или палец? Палец... А я кто? Барин или мужик? Мужик... Так чего зубы-то заговаривать? Бери, ребята, винтовки! Бей их! бесов! Бей бесов окаянных, комиссаров и бар!.. Довольно поцарствовали над нами!.. Правильно ли я говорю?..

– Перекрестись, что против панов.

Егоров снял кубанку и перекрестился на церковь.

– Бумагу написать можешь?

– Могу.

– А печатку приложить можешь?

– Могу.

Толпа зашумела. Особенно горячились бабы. Я не дождался конца и вернулся в халупу. А вечером Федя мне доложил, что деревня дает семь человек добровольцев. Доложив, он остановился в дверях.

– Нестоящее это дело, господин полковник.

– Почему?

– Да убегут мужичонки эти. Разве им возможно не убежать? Ведь Егоров наврал: неизвестно за что воюем.

17 ноября.

В лесу и в поле, вечером, ночью и днем, меня не покидает острая мысль, – мысль об Ольге. Позвякивает стремя о стремя. Голубка просит поводьев, оступается и снова мягко шагает, а передо мной встает Ольга. Блестят голубые глаза, рассыпались русые косы. Она, смеясь, играет в горелки. Горелки... Какое наивное, навеки забытое слово... Где Ольга? В тюрьме? В подвалах Лубянки? В руках у пьяного комиссара?.. Я не могу, я не смею думать. Огонь обжигает лицо и мутится буйно в глазах.

18 ноября.

Березина оледенела. Сверкает звонкий, голубоватый лед. Выше, вверх по течению, широкая полынья, – говорливые и резвые струи. Садясь на задние ноги, ошупью спускается с крутизны Голубка. У реки она нюхает воздух и пятится в испуге назад. Но я поднимаю хлыст. Она храпит и делает быстрый скачок.

Выехав на луговой берег, я обернулся. Веселую вереницей переправляется полк. Уланы в желтых кубанках, в серых шинелях до шпор и с винтовками за плечами, осторожно ведут некованых лошадей. Впереди трубач Барабошка, тот самый, которого я спросил о Жгуне. Его лошадь скользит и падает на колени. Она беспомощно бьется на льду, а Барабошка хохочет, как сумасшедший. Смеюсь и я. Я не знаю, чему я смеюсь. Но так беспорочно раннее утро, так прозрачен морозный воздух, так разноголоса пробудившаяся река, так бодры кони и так приветливы люди, что я, как мальчик, радуюсь жизни. Жить – не думать, не знать, не помнить...

Полк собирается на лугу. Я выстраиваю его походной колонной. Раздается беззаботная песня. Уланы поют «Олега».

19 ноября.

Федя подает мне бинокль.

– Вот они, господин полковник.

Я вижу: в сизой мгле колышутся тени. Их много. Они двигаются по Бобруйскому тракту. Это красные. Неужели они принимают нас за своих?

– В атаку! В карьер!

Засвистел и резнул лицо воздух, напряглась и выбросилась вперед Голубка. Низко наклонясь к луке, я обнажил саблю. Справа и слева быстрый топот копыт, короткие вскрики и выстрелы, – не щелканье ли бичей? Как во сне промелькнул Егоров. Взвизгнуло острое лезвие, что-то охнуло и что-то упало... Я пришел в себя, когда окончился бой. И когда я пришел в себя, я заметил, что к далекому лесу, по вспаханной и мерзлой земле, спотыкаясь, бежит человек. Он бежал без винтовки, закрывая руками затылок. За ним тяжелым галопом скакал один из наших улан. Я узнал взводного Жеребцова. Я опять пустил Голубку в карьер.

Я догнал их уже на опушке. Блеснула сабля, очертила звенящий круг. Красноармеец, пригнувшись, бросился в ельник. Я взглянул на него, на этого русского, в шлеме с красной звездой, мужика, и мною овладело незнакомое чувство. Я крикнул:

– Опустит руку!

Жеребцов злобно, всем телом, повернулся ко мне.

– Опusti! А ты... А ты, еловая голова, иди за мною...

Красноармеец сперва не понял. Потом поднял испуганные глаза. Потом, крестясь и путаясь, и снова крестясь, забормотал невнятной скороговоркой:

– Вот спасибо... Вот так спасибо... Вот так уж на самом деле спасибо...

20 ноября.

«Не убий!»... Когда-то эти слова, пронзили меня копьем. Теперь... Теперь они мне кажутся ложью. «Не убий», но все убивают вокруг. Льется «клюквенный сок», затопляет даже до узд конских. Человек живет и дышит убийством, бродит в кровавой тьме и в кровавой тьме умирает. Хищный зверь убьет, когда голод измучит его, человек – от усталости, от лени, от скуки. Такова жизнь. Таково первозданное, не нами созданное, не нашей волей уничтожаемое. К чему же тогда покаяние? Для того, чтобы люди, которые никогда не посмеют убить и трепещут перед собственной смертью, праздно-словили о заповедях завета?.. Какой кощунственный балаган! 21 ноября.

21 ноября.

Мы с боями идем вперед. Вчера мы два раза ходили в атаку. Ранен командир первого эскадрона, ранено человек десять улан, и убит трубач Барабошка. Он был тоже «скобарь», земляк Егорова, заклятый враг коммунистов. Он всегда был доволен, даже когда нечего было есть, даже когда люди от усталости засыпали на седлах. — «Тяжело, Барабошка?» — «Никак нет, нам скопским кап што»... В деревне у него остался отец, суровый и благочестивый крестьянин. Отец и приказал ему идти в добровольцы.

Мы похоронили Барабошку в лесу. Уланы наскоро пропели «вечную память» и поставили березовый крест. Когда стукнул последний ком глины, Федя, нахмурясь, сказал:

— Жил грешно и умер смешно.

— Почему смешно, Федя?

— Да ведь не от чужой, а от русской пули.

22 ноября.

Ночью меня разбудил Федя.

– Вставайте, господин полковник, вставайте!

– В чем дело?

– Уже ура кричат, господин полковник...

Я мало верю в ночные атаки. Но делать нечего: я нехотя одеваюсь. На улице тьма. Ни зги. Настойчиво стучат у околицы пулеметы. Больше ни звука. Я спрашиваю:

– Кто же кричит ура?

– Виноват, господин полковник.

Федя не трус, но не лучше труса. У него испорченное воображение. Ему мерещится то, чего нет. Замечает ли он то, что есть?.. Ему стыдно. Он говорит:

– Да ведь так и лезут с одиннадцати часов...

Пусть «лезут»... Я захожу посмотреть Голубку. Она почувствовала меня и обернулась в темном сарае, – сверкнула скошенным глазом. Я ласкаю ее упругую грудь, ее гибкую шею. Она просит сахара – ищет горячими губами ладонь. Но сахара нет. Все еще стучат пулеметы. За моей спиной покорно вздыхает Федя.

24 ноября.

Разве это война? Красные сдаются почти без боя. Вчера мы взяли батарею – четыре орудия, сегодня два пехотных полка. Федя хвалится: «Так и ставку ихнюю голыми руками возьмем». Егоров останавливает его: «Не мели. Воля божья... О себе пекись. Как бы не забрали тебя...» Но я спокоен: Федю не заберут.

Холодно. Свищет ветер. Воеет и разыгрывается метель. Вреде выстроил пленных в поле. Он командует:

– Смирно!

Восемьсот, одетых в военную форму, крестьян впивается мне в лицо. У всех один и тот же, напряженный и недоверчивый взгляд. Они озябли, держат руки по швам и готовятся к смерти. Федя спрашивает:

– Прикажете тачанки подать?..

Тачанки... Нет, я не расстрелял никого. Я предложил желающим вернуться в Бобруйск, желающим записаться к нам. И я сказал, что каждый волен идти домой.

Они не поняли. Кружилась снежная пыль, таяла и забивалась за воротник. Я ушел. Они все еще ждали. Ждали чего? Тачанок?..

25 ноября.

К пленным я послал Егорова и «мужичонков» из Бухчи. Я не знаю, о чем они говорили. Вероятно, опять о панах, о земле, о подводах, о генералах. Но к вечеру у нас составил-ся новый добровольческий полк – 1-й Партизанский, пехот-ный. И теперь во мне живет звериное чувство: я хочу драться. Драться, даже если нельзя победить.

26 ноября.

Я люблю Ольгу. Любит ли Ольга меня? Я впервые задаю себе вопрос. Там, в Москве, я знал, что она не может меня не любить. Какая женщина устоит против любви? Какая женщина не истомится и не взволнуется страстью? Чье сердце выдержит самоубийственный поединок?.. Но ведь теперь между нами даже не бездна, а колодец ее. Колодец бедствий, тревог, несчастий и поражений. Не тюрьма и не Лубянка страшны. Я сожгу тюрьму и взорву Лубянку... Страшна неразделенная жизнь.

27 ноября.

Я написал на клочке бумаги: «Начальнику Бобруйского гарнизона. Приказываю вам сдать немедленно город. В случае неисполнения сего приказания, я вас повешу. Деревня Микашевичи. Подпись». Эту записку я передаю перебежчику. Молодой солдат в шлеме улыбается и прячет ее за рукав.

– Ничего больше, товарищ?

– Ничего.

– Счастливо оставаться, товарищ.

28 ноября.

Для него я «товарищ», а не «господин полковник» и уж, конечно, не «его благородие». Вреде не признает этих «коммунистических новшеств». Он не может понять, что он давно не его величества лейб-гусар, а такой же доброволец, как Федя. «Товарищ» звучит для него оскорблением. Мне все равно: лишь бы сдался Бобруйск, лишь бы сделать еще один, пусть обманчивый, шаг к Москве... Мне приказано ждать. Тем хуже. Завтра я наступаю.

Целый день длился бой. Грохотали орудия, разрывались, взметая землю, гранаты, звенела и таяла в голубых небесах шрапнель. Я смотрел в бинокль, как на окрестных холмах перебегали за березами люди и падали под нашим огнем. Не люди, а игрушечные солдаты. Игрушечная шашка, как спичка; игрушечная винтовка, как карандаш; игрушечный разрыв, как дым папиросы. А когда мы взяли холмы, на истоптанной прошлогодней траве валялись шапки, сумки, шинели. Федя поднял одну, офицерскую, подбитую мехом. Она была испачкана кровью. Он счистил ножиком кровь и надел шинель в рукава. Уланы мерзнут и завидуют Феде: «ордinarцам всегда везет». Но сегодня везет и им: люди сыты, и у лошадей есть овес.

29 ноября.

Мы вошли в Бобруйск на вечерней заре. Садится круглое, багровое солнце. На гулких улицах ни души. Чернеют заколоченные дома, и четко, иглами, торчат фабричные трубы. На главной площади, на канате, два источенных дождями портрета: Ленин и Троцкий. Егоров саблей разрубает канат.

Мы победили. Но во мне нет радости, знакомого опьянения: русские победили русских. На стене белеется прокламация. Я срываю ее. В ней говорится о нас – «разбойниках» и «бандитах». И я спрашиваю себя: брат на брата или клоп на клопа?

30 ноября.

Взводный Жеребцов делает мне доклад:

– Так что взяли нас, господин полковник, под Микашевичами, в разъезде, – Кучеряева, Карягина и меня. Привезли в Бобруйск потащили в Че-ку. В Че-ке не комиссар, а толстая баба, содком. Во френче и в галифах. В руке у нее наган. Взглянула на Кучеряева, говорит: «Ползи на коленях». Кучеряев пополз. Она трах из нагана.

Потом Карягину: «А теперь ползи ты». Карягин туда-сюда, а в дверях чекисты стоят, смеются. Нечего делать. Пополз. Она снова трах. Уволокли чекисты обоих, а она ко мне повернулась и ласково так говорит: «Как тебя звать, товарищ?» – «Василий». – «Ну что-ж, покури, товарищ Василий»... и папиросу дает. Взял я папиросу, курю. А она меня подозвала к себе и руки на плечи положила: «Ты ведь все мне расскажешь, товарищ Василий?.. Сколько у вас коней, орудий, винтовок»... Я ей было пушку залить хотел, а она как закричит на меня: «Врешь! Правду говори, сукин сын!»... – «Не могу знать», – говорю. – «А, так ты так?.. Всыпать ему пятьдесят!..» Всыпали. – «Ну?..» Я молчу. Она встала со стула и раз меня хлыстом по щеке. Искровенила все лицо. «Увести его. Всыпать еще полсотни, а потом на сосиски...» Увели меня в паку, есть и пить не дают, измываются только: «Ты, – говорят, – Иуда, проданся господам»... А тут вы по-

дошли и, слава богу, освободили... Она, с комиссаром, ска-
зывают, до сих пор укрывается здесь. Тетерины их фамилия.

1 декабря.

Егоров отыскал комиссара, но жены его не нашел. Тетерин прятался в еврейской семье, под периной. В наказание Егоров выпустил из перины пух, разбил окна и изломал грошовую мебель – «побаловался немного». Тетерина повесили утром. Вешал, конечно, Федя. Он нарочно долго возился с петлей, мылил веревку, уходил и не торопился возвращаться обратно. Теперь Федя выпил водки и пообедал. Он в сенях бренчит на гитаре:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.